



Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы 70 лет

Мой Шукшин

«Я помню чуждое мгновение...»

Первая встреча с моим будущим кумиром и властителем дум случилась при столь прозаически сниженных и неблагонравных обстоятельствах, что о ней, может быть, и не стоило вообще вспоминать. Мгновение, прямо скажем, было не по-шукшински чудное, а чудное. Но кто знает, кто наверняка возьмется утверждать, что чувство любви всегда непременно начинается зарождаться в нашем сердце только исключительно от чего-то красивого, возвышенного, однозначно позитивного?

Шукшина (я и фамилии-то этой еще не знал) мимо меня пронесли... Десяток дюжих молодцов, стиснув его своими стальными ручьями, транспортировали слово бревно. Впрочем, это был уже финальный аккорд сей ненормативной истории. А еще имело место вулканическое начало и не менее бурное крещендо.

Дело было, наверное, осенью 62-го в нашей знаменитой вгиковской общаге. Заведении шумном, скандальном, где на входе, над головой вахтера, красовалось почти антисоветское строгое объявление: «При посещении общежития ВГИКа следующие документы документами не считать». И далее перечислялось: комсомольские билеты, военные билеты, членские билеты профсоюзных и прочих уважаемых организаций.

Несмотря на такую строгость режима, с обитателями общежития все время случалось что-то за пределами. Сценаристы с курса Э. Володарского зверски побили кагэбэшников, кого-то даже за такое сценарное мастерство исключили из института. На нашем третьем этаже, где жили в основном будущие художники, сценаристы и киноведы, один студент откусил другому нос. В соседней с нами комнате собирались студенты сценарной мастерской, которые завели удивительный обычай: собравшись всем курсом, они запалились водкой, закрывали изнутри дверь на ключ и, хорошо надрвавшись, начинали читать вслух и обсуждать свои сценарные описи. С первого же этажа дело переходило в жуткий мордобой. Но, поскольку дверь была закрыта на ключ, а ключ предусмотрительно спрятали, жаркая дискуссия продолжалась до последнего аргумента. Подробности обсуждений нам потом красочно живописал Слава Дышко, однокурник работников, маленький, тихий, интеллигентный еврей из Ворошиловграда, еще в процессе чтения незаметно успевавший залезть под свою кровать, откуда потом созерцал подвиги однокурников.

Мне, тихому и застенчивому первокурснику киноведческого факультета, тогда подобные художества в светлом храме искусства, каким до поступления рисовался ВГИК, были в диковинку, и еще не успевшая зачерстветь душа трепетала при каждом очередном визге или пьяном мычании.

И вот как-то за полночь, когда утомилась уже и самая буйная общаговская братва, а мои соседи по комнате отошли ко сну, на нашем этаже кто-то с на редкость красочными матюгами начал ломать дверь. Матюги были столь нетривиальными, что я даже отложил томик античных трагедий и невольно заслушался. Но тут дверь, которую ломали, не выдержала буйного напора, раздался победный треск, а следом дикий женский вопль, кто-то куда-то побежал.

Я выскочил в коридор. Уже в дальнем его конце мелькала полуодетая женская фигура, а следом за ней, как на крыльях, летел товарищ в майке и длинных трусах. Не успел я толком восхититься этим великолепным ночным олимпийским забегом, как меня просто вмяла в стену разгоряченная масса крепких мужских тел, явно устремившихся в погоню за парочкой лидеров. В самом конце коридора, у поворота на лестницу, все, кажется, догнали друг друга. Вмиг образовалась галдящая, хрипящая, орущая гора копошащихся тел, из-под которой первой ловко выбралась лидировавшая

Мемуары я еще не писал. Вроде бы рановато. Но какие-то события и особенно люди, когда-то тебя поразившие, нет-нет да словно и подталкивают к тому, чтобы повспоминать о них не только про себя, но уже и вслух.

Как ни странно, особенно настойчиво «просится наружу» у меня Шукшин. Почему странно? Да потому, что ни в друзьях, ни даже в его приятелях я не состоял. Более того: достаточно долгое время, надо признаться, наши отношения по какой-то, так и оставшейся для меня загадочной, причине были совершенно неважнецкими. И стало быть, ничего такого эксклюзивного вспоминать мне и нечего.

А повспоминать тем не менее хочется. И с годами — все сильнее и сильнее. И не поверить ли, в самом деле, острослову Оскару Уайльду, утверждавшему, что «лучший способ избавиться от искушения — поддаться ему»?

Валерий ФОМИН

на дистанции черноволосая мамзель и устремилась на утек — теперь уже в мою сторону. Следом за ней вырвался на свободу и олимпиец в длиннющих трусах.

С перекошенным от ужаса лицом мамзель пулей пролетела мимо меня, а вот ее преследователя опять догнали и повалили. Непостижимым образом он вырвался и снова пустился было бежать. Его догнали и повалили. Соревнование по спринту перешло в состязание по борьбе. И явно не классической. Живописное зрелище напоминало знаменитую скульптурную группу — битву Лаокоона с опутавшими его змеями. Только Лаокоон тут оказался человек явно не богатырского сложения. Но даже и плечистые атлеты типа Коли Губенко или Вахтанга Микеладзе, слышавшего в общежитии силачом № 1, ничего не могли с ним поделать. В жилистом, нескладном теле было столько страсти и неистовства, что его никак не удавалось скрутить и он вырывался снова и снова.

Наконец неистовый сопротивленец исчез под пучиной навалившихся на него тел. Каким-то образом его скрутили, и усталые усмирители, тяжело дыша, понесли мимо меня обмякшее, почти бездыханное тело. В какой-то момент он вдруг вскинул голову. Боже, какое это было лицо! Сколько боли, страдания, невыносимой горечи разом запечатлелось на нем!

— Кто это? — невольно спросил я кого-то из замыкавших колонну усмирителей.

— Да Вася Шукшин. Жену свою гоняет. (Лидия Александрова — актриса, снялась в фильме «Живет такой парень» в роли библиотечки.) Он уж институт давно закончил, а прописки московской нет, живет в общежитии.



Признаюсь, имя это тогда мне не казалось абсолютно ничего. Лицо запомнилось на всю жизнь. Дурацкая, фарсовая, в общем-то рядовая сценка из заполошной жизни вгиковского общежития тогда в один миг превратилась в трагическую. Сразу дохнуло чем-то по-настоящему грозным и страшным. Будто сама жизнь, сбросив свой шутиловый маскарадный наряд, разом обозначила все свои жуткие и неотвратимые бездны. «Э, добры молодцы, вы еще не знаете, не ведаете, каких горьких и страшных сюрпризов я наготовила для вас...»

Потому-то нисколько не стыжусь я этого не-

складного и, может быть, не очень красивого воспоминания. Более того: зная, как сложилась потом судьба Шукшина, невольно начинаешь воспринимать эту сценку как некий эпиграф ко всей его и жизненной, и творческой судьбе. Ведь сколько раз потом — уже по совершенно другим, серьезным поводам — повторялись эти сценки-картинки: вот несется за Шукшиным очередная толпа укротителей, догоняет его, валит, скручивает, несет.

Так было со всеми его фильмами. С непоставленным «Разыном». Даже и совсем напоследок, в торжественной церемонии прощания в Доме кино, когда его гроб сняли с постаментов под фреской Леже и понесли к выходу, у меня больно кольнуло в сердце давнее воспоминание об осени 62-го.

Русское слово

На следующий год в нашем учебном расписании появилась новая дисциплина — редактирование фильма. Игорь Иванович Стреков, обучавший нас премудростям этого загадочного ремесла, лекциями особенно не пичкал — предпочитал преподносить науку практически-наглядно. Как-то он потащил нас на студию Горького познакомиться с процедурой утверждения актерских проб.

Нас привели в просмотровый зал, усадили в дальний уголок и велели сидеть тихо. В первом ряду у экрана важно восседали члены студийного художественного совета с Сергеем Герасимовым. Тут откуда-то сбоку появился невероятно хмурый на вид человек, чуть кивнул головой, поздоровавшись как бы сразу со всеми, и угрюмо уселся в стороне от всех.

«Это Шукшин, режиссер», — шепнул нам Стреков, но и без подсказки я мгновенно узнал некогда так поразившее лицо. Правда, теперь на нем запечатлелась совсем другая гамма. Человечек-вулкан, бушевавший во вгиковской общежитии, был как-то утешающе тих, задумчив и абсолютно отрешен — будто и не ему предстояло сейчас плыть вприсядку перед студийным художественным советом. Только по желвакам, вдруг начинавшим ходить под скулами, можно было догадаться, до какой степени он спеленал сам себя, намертво закрывшись на все замки и застёжки.

Погас свет и впервые в жизни я увидел на экране знаменитую хлопушку. Успел прочитать надпись на ней: «Живет такой парень». Потом пошли сами пробы. Разные актеры по одиночке и попарно старательно разыгрывали одни и те же сцены. Очень скоро я уже совершенно перестал различать, кто из них лучше, кто хуже. И прежде всего потому, что на экране безоговорочно царил, наголову переигрывая всех актеров, само авторское слово. И диалоги, и реплики героев были написаны так живо, так смачно, так колоритно, что обмерло сердце — впервые на экране заговорила неокиношенная, неолитературная, а подлинная Россия.

Примерно через полгода тот же Стреков умудрился показать нам уже черновой монтаж отснятого фильма. Шукшин не обманул ожиданий: все, что только едва-едва было намечено и обещано в кинопробах, в фильме

было реализовано с лихвой.

Тогда, в начале 60-х, было счастливое для нашего кино время. Переживали вторую молодость замечательные «старики» — Ромм, Пырьев, Райзман. В пик формы входило чухраевское поколение. И еще краше были дебюты совсем молодых — Климова, Тарковского, Шепитко, Мансурова. Прямо скажем, было тогда кого любить, кем восхищаться. И это хорошее, богатое на таланты время осчастливило меня особым подарком — с фильмом «Живет такой парень» у меня появился абсолютно мой режиссер. Ближе, роднее, дороже — не бывает.

Пересечение параллельных

Долгое время любить своего кумира мне довелось на изрядном расстоянии. Я все время топтался где-то совсем рядом с ним, но тем не менее наши маршруты никак не пересекались. Даже холера 70-го нас не соединила. Тогда Шукшин приехал в Астрахань выбирать натуру для «Разына», а меня занесло в те же края на рыбалку. Обоих залпом накрыл карантин. В холерных изоляторах мы томились где-то совсем рядом, но, увы, встретиться даже по такому замечательному случаю не довелось.

Вновь воочию я увидел Шукшина уже только на «Печках-лавочках». Повод для того был замечательный. Мне взбрело написать книгу про дорогих сердцу режиссеров. Не про их фильмы, а про то, как они снимают. Как работают на площадке. Как монтируют. И так далее.

Более всего меня склоняла к этой совершенно авантюрной затее дразнящая догадка: если сами фильмы у обожаемых мною режиссеров такие разные, то, наверное, и снимают они их как-то по особому, на свой манер. А как? Никто про то абсолютно ничего не знал. А вот бы узнать, провести. Страшно любопытно!

Я набросал на листке бумаги свой «дон-жуанский» список. Всех любовей из действовавших тогда режиссеров младшего поколения у меня набралось аж шестнадцать штук: от Лотяну и Параджанова до Тарковского и Панфилова. Последним — по алфавиту — в списке значился Шукшин.

Загоревшись, я быстренько накатал совершенно нахальную заявку в редакцию кино издательства «Искусство». Ее на удивление легко и быстро утвердили.

Но мои персонажи оказались какими-то сомнительными. Едва я начал собирать материал для книги, как в лагерь загудел Параджанов. У Булата Мансурова на «полку» угодила «Тризна». На Украине резко перекопалась судьба Юрия Ильенко — тамошний партийный бог Щербинский приступил к ликвидации школы украинского поэтического кино. У режиссеров-россиян дела обстояли не лучше. Тарковский после катастрофы с «Рублевым» стал просто неупоминаемым. У Климова накрылась «Агония». Лариса Шепитко все еще не была прощена за клятву «Родину электричества». Но чем хуже шли дела у моих «подопечных», тем с большим интересом я соби-



рал материал. Сутками пропадал на киностудиях, мотался в экспедиции, сидел в монтажной, на озвучивании. Несколько раз удалось даже поприсутствовать на сдаче картин начальству. Впечатлений была масса: герои моей будущей книжки работали потрясающе интересно. И действительно — каждый по-своему.

Отношения с ними — за что я поначалу сильно опасался — складывались более чем удачно. С Лотяну, Ильенко, Мансуровым, Али Хамраевым, Океевым, Мотылем, даже с Глебом Панфиловым я как-то быстро и без особых проблем нашел общий язык. Нестыковочка имела место только с одним Андреем Кончаловским. Он принял меня любезно, но выбрал такую игриво-маскарадную манеру общения, так жонглировал словами и оценками, был столь двусмыслен, что мне стало тошно. Однажды я плюнул и просто перестал к нему ходить. О чем до сих пор не жалею.

Но этот собой был единственным.

До поры до времени.

К Шукшину я попал позже других. После «Странных людей» (1969) он долго ничего не снимал — шла битва за «Разина», картина два раза запусклась в производство и дважды останавливалась.

Как только начались «Печки-лавочки», я тут же понесся на студию. Но предстоял еще момент знакомства и объяснения — ведь с главным своим кумиром я все еще не был даже знаком. Правда, меня это нисколько не тревожило. Тем более, что в день моего появления на картину, казалось бы, абсолютно все благоприсутствовало успешному наведению мостов.

Шукшин снимал в павильоне эпизод в купе, где герой Буркова — поездный вор — выдавал себя за «конструктора по железной дороге с авиационным уклоном». Сцену сняли легко, весело — просто играючи! Шукшин был в прекраснейшем настроении, шутил направо и налево, просто светился весь. Вот в этот благодатный момент меня к нему подвели и представили. А уже в следующую секунду состоялось полное мое позорище. Веселый, счастливый, сияющий режиссер, едва взглянув на меня, разом как-то поскучнел, посуровел, безглаголююще отвернулся, словно при внезапно открывшемся неприятном зрелище.

Эта реакция была столь неожиданна и необъяснима, что я совершенно потерялся. Принялся лепетать, что характер задуманной книги обязывает меня присутствовать на съемочной площадке, задавать режиссеру вопросы и так далее. Объяснение усугубило ситуацию еще больше. Желваки у Шукшина так и гуляли. Он вдруг резко повернулся ко мне, зыркнул яростным взглядом, хотел, видно, брякнуть что-то совсем для меня убийное, но все-таки сдержался и ледяным голосом отрезал: «Ну, что ж, если уж так приспичило торчать у меня за спиной, то куды денешься. Ходите, смотрите. Может, чего и высмотрите. Но объяснять я ничего не собираюсь». Резко повернулся и ушел. Злющий-презлющий.

Что тогда стряслось? Почему наше знакомство обернулось таким кошмаром? До сих пор ломаю голову и не могу объяснить. Самая тяжкая мысль, которая позднее посетила ме-

ня, заключалась в том, что скорее всего Василий Макарович принял меня за подосланного к нему специалиста определенного профиля. Должен признаться, что позднее у меня и в самом деле создалось впечатление, что вниманием «киноведов с Лубянки» Шукшин никак не обделен. Но меня-то — так в него влюбленного — с какого бодуна в подобном качестве воспринимать?

Ох, как было горько и обидно!

А самое главное — «от ворот поворот» оказался совсем не сиюминутным и не под горячую руку. Так все вкривь-вкось пошло и дальше. Проглотив обиду, я стал ходить на съемки. Потом на озвучивание и монтаж. Отношения не улучшались. Шукшин здоровался, был вежлив, но к сердцу не подпускал.

Копченый лещ

Жуткие для меня отношения эстафетой перешли и на «Калину красную».

Шукшин начал ее снимать, едва выйдя из больницы, не совсем подлечившись. Дело в том, что, отчаявшись пробиться с «Разиным» на студию Горького, где царствовал его «покровитель» Герасимов, Шукшин перешел на «Мосфильм» в надежде, что тут с воплощением хрустальной мечты будет полегче. А потому «Калина красная» стала для него чем-то вроде вступительного экзамена на «Мосфильм». Снимет хорошо, покажет себя хорошим производственнымником — тогда можно будет и о продолжении подумать.

Но вступительный экзамен пришлось держать в слишком уж суровых условиях. Во-первых, снимать пришлось, не только едва-едва поднявшись с больничной койки, но и без всякого подготовительного периода (!!!). Уходила весенне-летняя натура — чтобы не пропускать целый год, надо было немедленно бросаться в погоню. Во-вторых, группа оказалась сколочена наспех. Своих, проверенных сотрудников у Шукшина было раз-два и обчелся.

«История эта началась в исправительно-трудовом лагере, севернее города «N», в местах прекрасных и строгих» — так лаконично обрисовывался ландшафт в сценарии «Калины красной». Места прекрасные и строгие нашли на Вологодчине, в окрестностях Белозерска.

Командировку туда от «Советского экрана» я выбыл с диким трудом. У журнала конфуз с Шукшиным вышел еще на «Печках-лавочках». Шукшин дал такое интервью про фильм, что редакция не решилась его печатать. Еще меньше было у совзрановских начальников желания связываться с новым шукшинским фильмом. Повесть была уже напечатана, и к фильму, который по ней снимался, привлекать внимание явно не было оснований. Герой — вор-рецидивист с многолетним стажем. Задумал было исправиться, так и того пришили на краю поля в разгар полевой кампании. Уголовщина с антисоветчиной. Какой тут еще на фиг репортаж?

Но как-то уломал, уговорил бдительных товарищей, поехал в Белозерск. Добирался на перекладных — поезд, пароход, какие-то попутки. На жилье устроился в «Доме колхозни-

ка». Вечером еле-еле дождался возвращения съемочной группы. Они вернулись грязные, усталые, пропыленные как черти и сразу пошли ужинать в местный ресторан. Кое-кто из группы меня признал, приветствовал, а оператор Толя Заболоцкий даже и обнял. Шукшин угрюмо поздоровался, бровью не повел. Снова корова!

Я уже не первый раз был в экспедиции и хорошо освоил, что помимо московских новостей всегда недурно привезти с собой какие-нибудь гостинцы. Что-нибудь эдакое, чего в экспедициях не бывает. Ну, скажем, хороший чай, кофе, какую-нибудь интересенькую бутылочку, новые журналы, книги. Да, и что ни привезешь — всему будут рады словно привет у родного дома. На этот раз гостинец у меня был просто сказочный — лещ холодного копчения. Громадный и изумительно приготовленный. Я отловил таких целую пару в буфете Свердловского райкома партии Москвы, куда меня, беспартийную сволочь, занесла нелегкая в связи с туристической поездкой в солнечную Болгарию. Предстояло пройти тест на политграмотность в выездной комиссии райкома.

Томаясь в очереди таких же несчастных и еще непроверенных советских граждан, я изучил все содержание райкомовского книжного киоска и неожиданно обнаружил там новую книгу Шукшина «Характеры». Перейдя в партийный буфет, отоварился на остатки средств двумя упомянутыми рыбными деликатесами. Они так сказочно благоухали, что чуть не изошел слюной, пока добрался до дому. Одного мы тут же приговорили с женой под батарею «Жигулевского». Второго честно сберег даже в долгой и трудной дороге, несмотря на все искусы. И когда я торжественно развернул газету и преподнес леща группе, был, конечно, полный фурор. Сладострастнее всех наслаждался деликатесом сам Шукшин. Он облизывал, обсасывал каждую косточку, потом пристально ее созерцал — не осталось ли на ней еще какого-нибудь лохмоточка.

А чем закончился этот «праздник для души»? Шукшин внимательно осмотрел груды оставшихся от пиршества костей, стер с лица благодатную улыбку и, прицелившись в меня пристальным взглядом, громко и ехидно спросил: «Интересно, интересно... А где таких волшебных лещиков достают?» Намек — как минимум — на мои блатные связи был более чем прозрачен. Все засмеялись. Я понял, что однажды поставленное клеймо подозрительности не будет смыто с меня никогда.

Колодец

На следующий день я поехал со всеми на съемку. И в этот день, и в последующие снимали эпизод «Баня», в котором Прокудин ошпаривал своего свояка Петра кипятком — сюжет для меня более чем актуальный.

Несколько дней я только наблюдал за тем, как идет работа. Но и по увиденному на площадке, и по сценарию в целом уже накопилось изрядно вопросов и, не удержавшись, я пошел на штурм.

— Василий Макарович, я ведь от журнала приехал на репортаж о съемках. Может, скажете все-таки хоть несколько слов о фильме. Два миллиона читателей как-никак.

Шукшина прорвало, слов он уже не выбирал:

— Ты что, не видишь, что творится?! Я же за троих пашу. У меня и так все из башки уже вылетает. Какое еще на хрен интервью?!!

Тут-то я окончательно и успокоился. Ну, нет так нет! Писать было о чем. Шукшин работал как зверь. Он пахал чуть не за всю группу. На Вологодчине стояла чудесная погода. Съемки на берегу озера. Съемочная площадка превратилась в санаторный пляж. Вся группа беззащитно разлеглась на берегу. Купались, загорали, перекидывались в картишки. Только Шукшин да Заболоцкий носились как ошумелые, все в мыле, все до последнего гвоздя делая своими руками. Вот уж воистину это было авторское кино!

Смотреть на все эти муки было и больно, и горестно, и страшно интересно. Каким-то диким напором, невероятным, нечеловеческим напряжением сил Шукшин на глазах перебарывал решительно все: и общий бардак, и лень, и непрофессионализм съемочной группы, и собственную страшную усталость. А еще и литературный сценарий, который сам написал. По ходу съемок он писал новые сцены, диалоги, все время искал возможность еще большего обострения.

Там же, где его ресурсы сценариста исчерпывались, он повышал накал повествования по актерской части. В роли Прокудина не было ни одного мало-мальски спокойного, проходного куска. Все строилось на взрыве, на предельном градусе. Когда снимали сцену истерики Егора на пригорке у церкви после посещения матери, Шукшин так корчился на земле, так страшно и горько рыдал, что, забыв про съемки и камеру, я было полез в кадр. Мне показало, что сейчас у него просто разорвется сердце. В последнюю секунду кто-то успел ухватить меня за руку и вернуть в реальность.

Свои — прокудинские — сцены Шукшин на площадке не репетировал. По крайней мере принародно. Но вряд ли их можно было взять вот так с ходу, без разминки. Значит, готовился. Но когда успевал, если пахал от зари до зари? Чудовищные эти перегрузки проявлялись подчас в неожиданных поступках и загадочных обстоятельствах. Как-то на съемках особенно трудно дававшейся сцены Шукшин вдруг подошел к колодцу и сильно, до предела наклонившись, заглянул в него. Да так и застыл. Прошла минута, вторая, третья — он не переменил позы. На площадке поднялся тихий ропот. Даже «санаторий» на берегу забеспокоился. Но подойти никто не решился. А вдруг он просто остывает. Или сосредоточивается. А может, реплики какие-то сочиняет. Но чем дальше, тем страшнее было на все это смотреть. И вдруг кольнуло: а что, если ему стало плохо?

Наступила гробовая тишина, все просто окаменело. И вдруг Шукшин распрямылся, глянул на всех: «Ну че, плывем дальше?»

Ну вот, что это с ним было? Какие мысли и чувства он взращивал столь наугадным всех манером? Не спросишь и не подъедешь ни на какой кривой. Да и зарекаюсь я уже чего-либо спрашивать у него.

Но тут однажды...

Командировка моя кончалась. И чуть ли не за день до отъезда Василий Макарович неожиданно сам подрулил ко мне:

— Ты свободен после обеда? Сегодня редакторша моя приезжает, Ира Сергиевская. Будет смотреть в клубе, чего мы тут наработали. Если хочешь, можешь посмотреть материал вместе с ней. А вечером приходи ко мне домой — может, и потолкуем.

Приснилось, послышалось? Не веря неожиданной перемене, несусь в клуб. Сырой, еще кое-как сложенный материал, местами даже с неотобранными дублями, со всем неизбежным съемочным мусором меня тогда просто потряс. И, признаюсь, даже больше, чем потом готовый, сложенный фильм. В нем было больше фона, подробностей, деталей городского и деревенского быта. Столь дорогой тогда моему сердцу антисоветчины было гораздо больше, чем в самом сюжете и судьбе героя. Толя Заболоцкий, снимая документально на улицах Белозерска, просто купался в ней.

Еле дождавшись вечера, пошел к Шукшину.

— Первый раз снимаю в цвете и очень боюсь, — сказал Василий Макарович. — Сюжет суров. Не напустили ли мы там соплей?

— Ну, цвет в разных сценах вообще прыгает, местами пестрит. Но ничего такого особо сопливо-слезливого вроде бы нет.

— А видел кусок, где я в кадре помираю?

— Видел.

— Вот совершенно не могу переносить в кино две вещи: как на экране дерутся и как умирают. Даже в хороших фильмах. Сразу все для меня кончается. Было живое, и вдруг сразу — какая-то туфта. А вот тут по сюжету самому в кадре надо помереть. И куда не денешься.

Я уверенно подтвердил, что туфты никакой.

— Мороз по коже...

Но не дав мне далее развить «помиральную» тему, Шукшин неожиданно сказал:

— Ну, ладно. Давай — какие у тебя ко мне вопросы?

Я брякнул первое же пришедшее в голову: что-то насчет замысла «Калины красной». Мол, откуда такой? Далее последовал, как минимум, часовой монолог. Умный, яростный, опасный. Шукшин отбросил все тормоза и не выбирал слов поделкатнее. И его счастье, что я действительно не оказался стукачом. Достаточно было передать кому надо хотя бы парочку особо «накаленных» фраз, чтобы угробить этот фильм раз и навсегда.

С этого потрясающего вечера у нас началась полоса совсем других отношений. Но уже такая короткая!

«Полностью изъять сцену разврата»

Вспоминать финальную часть работы над «Калиной красной» сегодня, уже зная, сколько оставалось жить ее автору, особенно тяжело.

Вернувшись из экспедиции, Шукшин дважды за короткий срок оказывался в больнице. В тяжелейшем состоянии. Но разлеживаться не особенно приходилось. Чтобы доказать, что он достоин работать на «Мосфильме», ему надо было — кровь из носу — сдать картину к концу года. От этого зависело очень многое. В том числе и судьба «Разина».

(Окончание на стр. 14)



(Окончание. Начало на стр. 10-11)

Мой Шукшин

Несмотря на все производственные осложнения, совершенную измотанность, больницы, — Шукшин успевал! И вот тут-то его опять повалили. В Малом Гнезниковском просмотрели уже смонтированный фильм и обнаружили в нем идейно-художественные просчеты. Главный редактор Госкино СССР Даль Орлов не нашел возможным в своем официальном заключении найти хотя бы одно доброе слово. В ход были пущены только излюбленные глаголы — “изъять”, “исключить”, “заменить”.

Жить автору “Калины красной” оставалось всего-то полгода с небольшим. Более месяца из этого своего “последнего срока” он угробил на то, чтобы исполнить идиотские предписания комитетского чинуши, заделать дыры, нанесенные вынужденными поправками. Как можно догадаться — чисто перестраховочными. Ибо, на самом деле, исправить такой фильм, какой снял Шукшин, было невозможно. Его надо было выпускать или в таком виде, в каком он был, или просто угробить. Первого — боялись. Второго, по-видимому, стыдились или тоже боялись.

Внося эти нелепые, разрушительные поправки, Шукшин умирал буквально на глазах. Смены в монтажной и тонстудии шли по 12-14 часов. А примерно через каждые три часа начинался очередной приступ. Василий Макарович ложился вниз лицом на сдвинутые стулья, пережидая когда хоть чуть-чуть отпустит боль. В помещении гасили свет, все уходило, оставляя Шукшина одного, распластанного на стульях. В курилке сидели молча. Ждали. Через какое-то время выходил Шукшин. Белый, как полотно. Виновато улыбался. “Ну что, двинем дальше? Кажись, полегчало...”

Снова продолжали работать. И новый приступ.

Если бы не было этих тягостных воспоминаний, до сих пор саднящих душу, я бы как киновед, наблюдавший историю создания “Калины красной”, как говорится, “от” и “до”, обязан был бы в первую очередь рассказать историю удивительных превращений, пережитых фильмом на его пути от замысла к воплощению по воле самого автора.

Не имея сейчас такой возможности, хотя бы самым беглым образом скажу самое главное. По ходу съемок, а потом и в черновом монтаже Шукшин все далее и радикальнее удалялся от своих исходных берегов. Событийно-фабульная основа не менялась, но фильм обрастал огромным количеством новых подробностей. Появились новые сцены, реплики, документальные зарисовки среды. Все это вместе взятое меняло сам характер повествования. Без всяких досъемок фильм спокойно тянул на две серии. И если бы Шукшин этот вопрос перед мосфильмовским начальством поставил, скорее всего никто против двухсерийного варианта не возражал.

Но уже на последнем, финишном, рывке Василий Макарович сам жестко и бесповоротно очистил историю Егора Прокудина от всех напластований, вязкой детализации, вернув фильм к излюбленной своей повествовательной форме — краткому, упругому, максимально сконцентрированному рассказу.

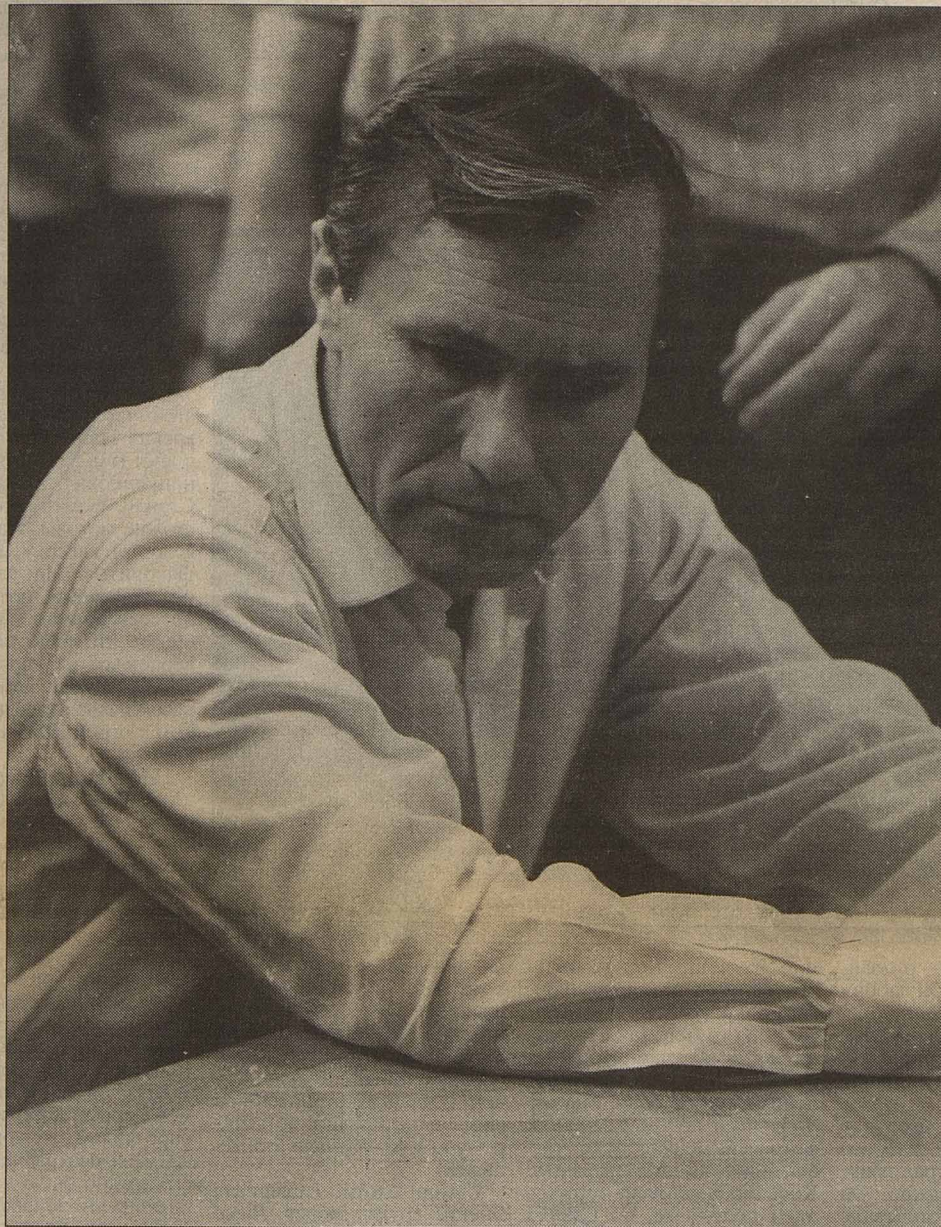
Несмотря на страшную занятость зимой 74-го, Шукшин выкроил время, и мне довелось записать с ним две большие беседы. В одной из них он признался, что идеалом для него были рассказы деревенских мужиков, когда те присаживались в поле передохнуть после тяжелой работы. К эстетике народного рассказа Шукшин и пришел в окончательном варианте “Калины красной”, отбросив все прочие, испробованные по ходу работы, по виду более сложные и ценные в кино модели повествования.

Это был поразительный урок верности самому себе, тому, на чем вырос.

Почему он сражался за Родину?

Долгое время Шукшин у Бондарчука сниматься не хотел. Не могу утверждать, по какой именно причине, но точно знаю — не хотел. Какое-то время Шукшин даже уклонялся от настойчивых домоганий мэтра. Подчас это выражалось чуть ли не в водевильных формах. Заранее предупрежденные в группе люди вовремя успевали отсигнать работавшему на переозвучивании Василию Макаровичу, что “идет Бондарь”. Прямо как в какой-нибудь оперетте Шукшин немедленно прятался в первое подходящее укрытие. Даже между рядами стульев!

Эта игра в кошки-мышки продолжалась достаточно долго. Мне кажется, что дело тут было не в какой-то неприязни, а в особых



обстоятельствах. Шукшину просто не с руки было сниматься у Бондарчука сразу после “Калины красной”. Надо было не только основательно подлечиться, но и начинать подготовку к “Разину”. На столе директора “Мосфильма” уже лежала соответствующая заявка. И первые переговоры с Сизовым (а до этого Шукшин еще ходил хлопотать за “Разина” аж в ЦК) вполне обнадеживали. Но как-то дома у Василия Макаровича я заметил режиссерский сценарий “Они сражались за Родину”.

— Что, Брестская крепость пала? — догадался я.

— Да, пришлось вот. Он мне обещал потом по “Разину” помочь.

О том, до какой степени Шукшин был одержим этим замыслом, я прочувствовал по одному забавному эпизоду еще на съемках “Калины красной”. Я как-то приволок на визу свой белозерский репортаж для “Советского экрана”. Шукшин обратил внимание, что довольно значительные куски его собственного интервью в тексте вымараны.

— Что это? — удивился он. — Кто-то хорошо погулял.

— Да, начальство в “Экране”. А я и не стал особенно упираться. Может, и в самом деле, пока фильм не закончен, не дразнить гусей?

И тут вместо того, чтобы просто матюнуться или распечь меня за “предательство”, Шукшин устроил настоящий спектакль. Начав с простенькой фразы “Ой, что это мы такие все напуганные”, он закатил грандиознейший монолог о нашем русском холопстве. Выплеснуто все это было на мою голову со страстью, даже неистовством. Но хотя все было сказано по делу, меня как-то ошарашила отточенность текста и фантастическая артистичность его “исполнения”.

Уже потом, после смерти Шукшина, когда отдельным изданием вышел роман “Я пришел дать вам волю...”, я вдруг обнаружил, что Василий Макарович пристыдил меня мо-

нологом Степана Разина из этого романа. Текст совпадал один к одному.

Последняя встреча

Мне очень хотелось сделать для Василия Макаровича что-то хорошее, полезное, основательное. И я не придумал ничего другого, как подбить его на заявку на сборник киносценариев. По тем временам идея была совершенно нахальная. Но неожиданно в издательстве “Искусство”, где я тогда и трудился в замечательной компании с Виктором Деминим, предложение приняли. Пришлось теперь выцарапывать рукописи у Шукшина.

Уезжая в экспедицию на Дон, он успел передать мне несколько пухлых папок. Большинство сценариев были написаны от руки. Удалось быстро все перепечатать, почистить, сложить. Дело оставалось за пустяком — предисловием к сборнику. Но я сам тут все усложнил. Мне страшно хотелось, чтобы свои сценарии представил читателю сам Шукшин. И он согласился, пообещав в экспедиции нечто эдакое “нацарапать”. Потом прислал открытку с извинениями — зашиваясь на съемках. Я уже было стал готовить редакционное начальство к тому, что будем издавать сборник без всякого предисловия. Ну, зачем нам чьи-то общие, необязательные слова? Читатель сам все поймет!

И тут, в июле, неожиданный звонок в редакцию: Шукшин в Москве!

— Валерий, я только на денек. Если можешь, давай сейчас ко мне домой. Поговорим, запишешь, потом причешем. Может, на том и остановимся.

Я помчался на проспект Мира. Прямо в дверях у дома столкнулся с оператором Заболоцким. С ним был художник Шавкат Абдусаламов. Пока поднимались по лестнице, до меня дошло, что Шавката ведут “сватать” на “Разина”. Плакало предисловие. И точно. Шавкат стал рассказывать позпизодно, как он видит фильм. Они так заговорились, так

размечтались, что золотое времечко пролетело в одну секунду. Шукшин спохватился: — Е-мое, а сколько ж времени?

Оказывается, он уже опаздывает на самолет. Выскочил в коридор попрощаться с женой. Раненым зверем понесся вниз по лестнице. Мы втроем — Заболоцкий, Абдусаламов и я — бросились за ним. Догнать не могли. Он первым выскочил на проспект, пытаясь остановить такси, бросался чуть не под колеса. Наконец, удалось поймать машину. Толя с Шавкатом остались, я успел всунуться — мне было по пути аж до Ленинского проспекта. Понеслись.

Василий Макарович оказался на переднем сидении, справа от шофера. Он сидел, скорчившись, как ребенок в утробе матери, закрыв лицо руками. Его бил колотун. Я сидел и сам контуженный дикой, горькой развязкой такого замечательного вечера. Попытался все-таки как-то успокоить, утешить своего сокрушенного, поверженного кумира. Смотреть на него было невыносимо. Я попробовал было еще раз переключить внимание. Стал рассказывать московские новости, кто да что снимает. Он не реагировал. Его по-прежнему колотило.

В условленном месте шофер тормознул, высадил меня. Я наклонился попрощаться через открытое переднее стекло. Дотронулся до плеча. Василий Макарович не шевельнулся, не поднял головы, ничего не ответил.

Машина рванула в карьер, исчезла в вечернем сумраке. Последняя встреча, как и первая, оказалась такой горькой, такой трагической! А в начале октября, кажется, уже вся Москва пришла к Дому кино попрощаться с Шукшиным.

Бессмертие

Года два назад меня пригласили на Дон, в Клетскую, откуда и пришла в 74-м черная весть. Как рассказала Лидия Николаевна Федосеева, там в станице, да и во всей Волгоградской области уже который год осенью устраивают шукшинские дни в память о нем.

Вместе с небольшой бригадой, в которой собрались в основном друзья и помощники Василия Макаровича, я отправился в путь. На душе как-то скребло. Не очень что-то мне хотелось увидеть место, где кончился земной путь Шукшина. Была на эту Клетскую какая-то неизживаемая обида. Хотя я хорошо знал, даже сам не раз видел, что доканывали его разные люди и учреждения исключительно в Москве. И все же камень на душе был.

Нас сняли на какой-то станции, не доезжая до Волгограда. Пересаживали на автобус.

Уже первая эта встреча на рельсах прозвучала как невероятный, красивый, искренний салют Шукшину. Дальше, где только ни останавливались, все шло по восходящей — потрясающие встречи в клубах, библиотеках, на улицах. Дни памяти выливались в настоящий народный праздник — яркий, захватывающий, очищающий. В Клетской на встречу пришла, кажется, вся станица. Мне показалось, что для жителей этого края Шукшин остался в памяти не только и, может быть, даже не столько замечательным писателем и кинематографистом, сколько чем-то гораздо большим и значительным. Он стал местным святым, народным героем, заступником, человеком из легенды. И тем самым обрел полное бессмертие.

А уж окончательно примирило меня с землей, забравшей у нас Шукшина, то место, недалеко от Клетской, на берегу Дона, где шли съемки фильма “Они сражались за Родину”, где стояла база съемочной группы и где душа Василия Макаровича отлетела на небо.

Место потрясающее!

Совершенно былинное, богатырское, разинское. Теперь и шукшинское. Крутой, под самое небо берег Дона, мощная река с неудержимым течением, неоглядные, бесконечные задонские дали. Простор, красота, воля. Все, что так любил Василий Макарович. На этой круче, рассказывали, он любил посидеть вечером один у догорающего костерка. Здесь отстали от него уже навсегда все погони и все преследователи. Теперь тут стоит простой, но достойный памятник из местного камня. Будет — так обещали здешние люди — стоять часовня.

Наверное, грех говорить и обсуждать, где лучше умирать. Но стоя на могучей донской круче под свежим, молодым ветром, под плывущими над самой головой чистыми облаками, невольно подумалось о том, что после всего того, что свершили на земле с Шукшиным люди, Бог забрал его к себе в самом что ни на есть достойном месте.

И вечная ему память!

● Василий Шукшин на съемках фильма «Печки-лавочки»

Фото Игоря ГНЕВАШЕВА